

*Помним ли мы, как впервые увидели свет,
как учились ходить, говорить?
Сколько живём мы на свете,
если порой и вчерашний день забываем?..*

По ночам
в бабушкином доме с тесовой крышей, изъеденной мхом,
слышно было,
как идут гулкие поезда
в неизвестную даль.
Однажды один из них
убил бабушкину корову-кормилицу.
Дождь лил как из ведра,
а утром было вёдро.
Я не видел, как плакала бабушка.

Дождь стеной водяной перед моим окном
бешено стенает в проёмах улиц,
намок треугольник письма,
смазаны лица прохожих, листья деревьев в том давнем.
Буду и в будущем помнить его,
даже став тенью.

В моих руках кусочек мёрзлого хлеба, посыпанный солью.
Его называли гостинец —
ласковое слово тех военных лет.
Тогда я улетал из детства в сегодняшние дни,
представляя их совсем другими...
А, может быть, живём мы только
в сей час
и нет нас ни в прошлом, ни в будущем?

Акварель. Лист первый

*Выправляю кривые прямой,
выкривляю прямые.
Так с нами жизнь поступает,
так поступаем мы с жизнью.*

Солнце в тот летний день жгло немилосердно.
Улица в ответ источала не менее яростный жар.
Жар источали стены домов, тела старых тополей,
городская дорога, мощённая серой пылью,
а тени домов, заборов, деревьев были настолько чётко очерчены,
как будто какой-то невероятный фотограф
тщательно навёл резкость и теперь любитесь делом своих рук.

Во дворе нашего дома,
что вырастал из земли аж на два этажа
своим мощным тёмным телом из добротного тайгового кругляка,
ни один пацан не верил Вальке Лобану,
который утверждал, что у него две бабушки и два дедушки.

Какой дурак этому поверит?

У всех остальных пацанов, как у людей, было по одной бабушке
и... и всё.

С отцами тоже была сильная напряжёнка.

Многие не вернулись с полей войны.

Такая вот полевая работа.

Дому нашему был присвоен адрес — улица Никитинская №103.

Правильнее, конечно, было бы сказать:

улица имени Никитина Ивана Савича, поэта,

но все привыкли называть её просто Никитинской.

Дом наш был выше всех соседних домов,

и это отдельный предмет гордости нашей детворы.

Этакой дылдой возвышался он на пересечении с Красноармейским.

Мы, ребяташки той поры, не задумывались,

переулок это или другая улица.

Красноармейский, и всё... А что?

Родители буквально вдавливали в мою голову этот адрес

на случай, если я заиграюсь далеко от дома и заблужусь.

Так же поступали и в других семьях.

В то время детям дозволялось бегать далеко от дома.

Автомобили на дорогах были редкостью,

уркаганы и прочая шантрапа — тоже.

За всё дошкольное детство я помню лишь один случай.

Произошло это так:

Совсем немного времени прошло с тех пор,

как отец, вернувшись с фронта,

перевёз нас с мамой от бабушки

со станции Алтайская в город Барнаул.

Я к тому времени ещё не освоился

на прилегающих к нашему дому улицах,

и вот на тебе:

навстречу идёт урка, причём классический урка.

О таких мне по секрету нашёптывал мой новый друг Лёха.

Соседки-бабушки говорили между собой про Лёху:

— Вот ведь, мамкина беда.

Лёха этим даже гордился.

Уркаган шёл посредине улицы,

приставал к молодым женщинам,

цыкал слюной между зубов на встречных ребяташек,

пугал их

и был, конечно, поддатым.

Он сильно отличался от привычных прохожих.

Одет был во всё новенькое:

чёрная аккуратная телогрейка,

чёрные хлопчатобумажные штаны,

заправленные в начищенные до блеска сапоги гармошкой,

фуражка-восьмиклинка, модная в те времена у блатных,

и чуб треугольником, выпущенный из-под козырька.

На прохожих он смотрел вызывающе, с угрозой.

Левая рука его была почему-то около ширинки штанов,

правая находилась в кармане телогрейки,

намекая, что там финка.

К нему подошли два молодых мужика,

одетых, как и большинство, во всё старенькое, потёртое.

Они походили на обычных рабочих,

шедших по утрам на заводы.

Трамваев и автобусов тогда не было.

Эти молодые мужики сделали блатному замечание.

Он посмотрел на них с презрением и заорал:

— Да я вас щас урою, я вас попишу!..

Как они его били!

Он упал от первого же удара,

а они продолжали, приговаривая:

— Тебя, сука, освободили, амнистировали в честь Победы,

так ты будь благодарен.

Я теперь понимаю: это были молодые парни,

пришедшие с недавней войны.

Они видели слишком много смертей

и сами лишали жизни других.

Блатной уже не сопротивлялся, только повторял:

— Я всё понял, я не прав.

Мужики подняли его с земли, поставили на ноги
и вытерли тряпкой, что подала какая-то женщина,
его лицо и шею, которые были в крови.
Я же, пишущий сегодня эти строки,
вспомнил почему-то слова библейских текстов о терпимости.
Что тут скажешь?
Библия — великое произведение,
но в одном из стихов её говорится устами Иисуса:
«Не мир я принёс вам, но меч».

Наше послевоенное детство
в далёком теперь СССР
было, конечно же, счастливым.
Не очень сытым? Да.
Но мы как-то не замечали этого.
По осени мы баловали себя ранетками.
Они наливались соком и, пожалуй, казались нам повкусней,
чем нынешние яблоки современным детям.
Обычно мы говорили друг другу:
— А пошли жрать ранетки!
И мы шли и жрали, именно «жрали» —
так было веселей.
Сначала мы шли к Демидовскому столбу,
где росло много молодых кустов ранеток,
а если хотели, перебирались на площадь Свободы:
там, на месте бывшей когда-то церкви,
был посажен целый сад.
Иногда нас из сквера выпроваживал дядя милиционер.
Мы от него прятались —
и это была важная часть наших игр.
А после мы с удовольствием обсуждали
свои приключения в ранеточном раю.

В те времена магазин детских товаров
располагался недалеко от нашего дома,
на пересечении Никитинской и Социалистического.
Это было красивое деревянное одноэтажное здание.

Одна сторона его тянулась по Социалистическому проспекту,
другая — по Никитинской улице,
а высокое крыльцо завершало угол этого соединения.
Над входом царила надпись большими буквами: «Детский мир».
Что говорить, дворец, да и только.
Мы стайкой пацанов и девчонок скромно заходили в магазин,
робко ходили вдоль стеклянных витрин
и так же робко удалялись.
Я теперь уже и не помню, что там продавали.
Признаюсь, тогда меня больше привлекали
цветные карандаши и альбомы для рисования.

Мы не испытывали недостатка в игрушках,
у нас всё было игрушками.
Допустим, забирались пацаны на дощатый забор,
который отделял наш двор от соседнего,
а снизу девчонка, отчаянная, хоть и младше нас,
кричит нам:
— Эй, вы, ну-ка отгадайте:
«А» и «Б» сидели на трубе.
«А» упало, «Б» пропало.
Кто остался на трубе?
— Никто!
— А вот и нет, — выкрикивала она в восторге. — «И» осталось!

Мы играли в догоняшки, в прятки, в войнушку, в штандер.
Когда играли в войнушку,
обычно никто не хотел быть фрицем.
В результате — решали играть без фрицев.
И как-то получалось.

Но чаще всего мы играли в машинки:
машинками служили прямоугольные деревяшки.
Строили дороги, гаражи, перевозили грузы, буксовали.
О, буксовать — это обязательно!
Чтобы потом помогать вытягивать друг друга.

Иногда мы участвовали и в девчончьих играх, когда они играли в магазин.

Продавщицами всегда были девчонки.

Директоров в этих магазинах не было.

Продавщицы торговали разным товаром:

ткани, хозяйственная мелочь, крупы, хлеб.

Допустим, я приходил в магазин и заявлял:

— Мне один килограмм хлеба.

Продавщица строго смотрела на меня и говорила:

— Килограмм отпустить не могу, только полкило.

Я соглашался, а что делать?

Она делала вид, что режет несуществующую буханку пополам, а я протягивал ей листочек сирени, который служил деньгами.

Она недовольно говорила мне:

— Мало денег, давай ещё.

Я протягивал ещё два листика сирени,

и она отдавала мне полбуханки хлеба.

Я брал эту несуществующую полбуханку

и укладывал её в несуществующую сумку...

А нередко случалось так:

во двор выходил наш заводила Петька.

Он держал в руке здоровенный ломоть хлеба,

посыпанный сахаром (вот ведь!), и орал на весь двор:

— Сорок один!

Это означало: ем один.

Стоя на крыльце, с поднятой рукой и ломтём хлеба в ней,

Петька был выше всех нас.

И тут кто-нибудь орал в ответ:

— Сорок второй!

Это означало: ем с тобой.

Всё всегда кончалось одним:

Этот ломоть разламывали на всех,

сахар просыпался, но все были довольны.

Рассказы об играх детей войны

Можно продолжать до бесконечности.

Я еще не рассказывал про зимние игры.

Это отдельная история...

...Сегодня, в 2020 году,
на семьдесят восьмом году жизни,
я, внук врага народа, думаю:
«А, может быть, прав был товарищ Сталин,
когда повторял в те послевоенные годы:
“Жить становится лучше, жить становится веселей”»...
Мы, жители огромной территории,
люди разных национальностей,
объединённые одной идеологией
и одним языком межнационального общения — русским,
постепенно жили всё лучше, всё веселее,
а главное — дружно.

Акварель. Лист второй

*Мы живём на свете
столько,
сколько позволяет нам
память.*

*Две бесконечности, всего лишь две
могу соизмерить.
Видю их в глазах моей матери.*

Младенческие годы вспоминаются мне редкими,
но яркими фрагментами,
как зарницы в небе.

Вот: мама держит меня на левой руке,
а другой листает страницы толстой книги,
пропахшей лекарствами, как и сама мама.
Теперь я знаю:
это был справочник лечащего врача,
а мама работала участковым детским врачом
на станции Алтайская.

Сколько себя помню,
она всегда работала участковым врачом-педиатром.
Только когда она покинула этот суетный мир,
из её документов я узнал, что в 1942 году,
когда отец уже был на фронте,
она окончила лечебное отделение
Акушери-фельдшерского техникума.
Этим и ограничилось её официальное медицинское образование.
А ещё припомнилось мне, как в пятидесятые годы
отец уговаривал маму продолжить образование
в только что открывшемся в Барнауле мединституте.
Правда, он не учёл тогда, что мама на тот момент,
выражаясь чиновничьим языком,
была главным кормильцем в семье.
Она работала на две с половиной ставки врача,
поэтому ни о какой учёбе не могло идти речи,
но она об этом всегда скромно молчала,
чтобы не травмировать нежную душу мужа.
Отец после войны, окончив десятилетку заочно,
поступил в Омский финансово-кредитный техникум,
где так же заочно продолжал своё образование
без отрыва от производства, как тогда говорили.

У мамы был удивительный талант диагноста.
Это очень ценили в детской поликлинике, где она работала.
Иногда она брала меня с собой на вызов.
Как правило, я ждал её на улице, развлекая себя как умел,
но изредка она разрешала мне пойти с ней к больному малышу,
и тогда я видел, как она священнодействует,
(иначе этот процесс трудно назвать).
Свой визит она начинала с того,
что успокаивала мамочку малыша,
и только потом приступала к осмотру больного младенца.
Больной малыш пронзительно пищал.
Что с него возьмёшь, говорить такие малыши еще не умеют.
Но младенец, слыша негромкий голос моей мамы,
осязая запах лекарств, исходивший от неё, успокаивался.

Мама малыша, как правило, всплеснув руками,
воскликнула: «Как же вы так, Агриппина Ивановна!»
Далее шло действие осмотра больного,
и оно же, наверное, лечение.
Мама моя не торопясь осматривала всего младенца,
(а он только гукает),
потом — его лобик, голову под жиденькими ещё волосиками,
белки глаз, шейку, животик.
Потом переходила вниз:
осматривала ножки на сгибах, между ножек —
нет ли где покраснений,
после заглядывала в ротик: нёбо, язычок, дёсны.
Затем слушала сердце фонендоскопом,
(к нему я испытывал большое почтение, серьёзное изделие),
измеряла температуру... и ставила диагноз. Всё!
Далее, она выписывала рецепты и, если была возможность,
оставляла самые важные для лечения лекарства.
Напоследок давала маме младенца необходимые наставления
(именно наставления!),
и на этом визит к ребёнку заканчивался.
Выздоровление ребёнка было гарантировано.

...Но возвращаюсь в январь 1943 года.
Бабушкин деревянный дом-насыпнушка.
Русская печь трещит дровами, рассылая вокруг доброе тепло.
Мне ещё нет и года.
Мама держит меня на сгибе левой руки
(я легко умещаюсь на нём),
а правой перелистывает страницы книги.
Там, среди страниц, уложен волосок с её головы.
Она говорит мне: «Смотри!»
Я вижу волосок и протягиваю к нему свой крохотный пальчик.
Мама радостно кричит своей маме, моей бабушке:
— Мама, он видит!

В те времена я умел только гукать, как и все младенцы,
а мама моя, беседуя со мной,

как беседует каждая мама со своим младенцем,
иной раз показывала мне различные предметы.
Я же равнодушно смотрел на них своими детскими гляделками,
мама и подумала, что у меня проблемы со зрением,
поэтому и проделала эксперимент с волоском.
Я в свой неполный год, конечно, не умел говорить,
но прекрасно понимал свою маму.
Думаете, я намекаю, что был каким-то особенным ребёнком?
Да, намекаю.
Более того, я намекаю, что все младенцы особенные
и, не умея говорить, прекрасно понимают своих мам.
Такие вот они — младенцы.

Акварель. Лист третий

*На фронте тишина,
затишье на передовой...
Редкие пули
со стуком глухим
ложатся рядом,
как преданные собаки.
Солнце улыбается криво.*

*Бездонны омуты сумасшедших
звуков войны и...
вдруг, словно бритвой по сердцу, —
тишина.*

Время войны движется удивительно медленно.
Минуты как дни, дни как годы,
говоря поэтическим языком,
сущность которого непостижима.

Все эти долгие годы я только слышал про отца.
Вот мама говорит, раскрывая треугольник письма:
— Папа прислал нам привет с фронта...
Или, показывая мне своё письмо к отцу на фронт:

— Смотри, я отправляю папе в конверте твои волосики с головки, он просил.

С работы мама приходила поздно, усталая, работала, как все, по законам военного времени.

Я оставался дома с бабушкой.

Бабушка беседовала со мной чаще, чем мама, и беседовала по-своему. Она говорила:

— Вот закончится война, и увидишь отца.

Я коверкал в те времена многие слова:

вместо слова «отец» говорил «отеца».

Когда мама, получив с фронта очередное письмо, сообщала мне: «Вот, папа снова прислал нам привет»,

я смотрел на неё и спрашивал: «А отца?»

Я как-то не мог связать два этих слова — папа и отец — с одним человеком.

Мама, устав на работе, не очень-то прислушивалась ко мне, а бабушка в такие мелочи вообще не вникала.

Со мной почему-то всегда так:

когда на пятом году своей жизни я научился читать, то читал не по слогам, а воспринимал слова и фразы в целом.

Но тут возникли проблемы: по радио я слышал

«товарищ Ленин» или «русский поэт Пушкин»,

а в книгах читал «Стихи о Виленине» или «сказки Аспушкина».

Я спрашивал взрослых: «Почему Виленин, почему Аспушкин?»

Никто меня не понимал, и никто ничего не объяснил.

Всё это я понял сам, но позднее...

Да, мама не понимала, о чём это я, когда спрашивал её про «отеца», но объяснять ей всё-таки пришлось, но не мне.

Уже отзвучали праздничные марши по случаю победы.

Закончилась война, наступил мир, но

локальные бои всё ещё продолжались.

Отца демобилизовали из армии ближе к осени 1946 года.

Мама получила письмо, в котором он сообщал,

что теперь он человек гражданский

и добирается из дальних краёв домой, в Барнаул.

Бабушка и мама с нетерпением ждали отца, а он,
как нередко бывает в жизни,
всё-таки неожиданно появился в бабушкином доме,
что стоял себе на высоком берегу реки Чесноковки.
А дом вообще никого не ждал,
а только очень боялся свалиться в речку.
Или это мы с бабушкой боялись?
Чесноковка каждую весну всё больше подмывала высокий берег.
Вот уже у соседей весь огород рухнул вниз,
и бабушкин дом теперь отделяла от речки только дорога,
она же улица Береговая.

Я сидел у бабушки на коленях,
а она — на своём сундуке,
который пах сухим деревом и старостью.
И вдруг...
(всегда это «вдруг» во всех рассказах, как без него?)
дверь, обитая войлоком, какой-то тканью и ещё чем-то
для сохранения тепла зимой, медленно, со скрипом открылась,
как будто сама собой, а никого нет, и...
в полутемном проёме двери возникла (именно возникла!)
фигура человека в солдатской форме, но без погон.
На голове у него пилотка,
гимнастёрка стянута солдатским ремнём.
Всё завершает галифе, сапоги и вещмешок за плечами.
Человек неподвижно стоял в дверном проёме,
кажется, даже боялся пошевелиться.
Бабушка со мной на коленях
тоже застыла на своём сундуке. (Немая сцена.)
— Отец приехал, — шепнула она мне на ухо,
и тут я громко воскликнул:
— Отеца приехал, а папы всё нет!
Мне показалось тогда, что никто, как обычно,
не обратил внимания на мои слова...

Всё вдруг пришло в движение.
Бабушка поставила меня на пол и кинулась к отцу.

— Слава тебе, Боже! — причитала она, обнимая его,
(а мама в это время ещё была на работе).

Я топтался у сундука. Отец растерянно смотрел на меня,
обнимая бабушку, и оба они были в слезах.

Тут и я заревел, (а как же — положено!).

Отец освободился от бабушки,

подбежал ко мне, схватил меня и прижал к себе.

Я впервые ощутил незнакомые запахи:

по-особому пахла его гимнастёрка —

крепкая смесь запахов махорки и мужского пота.

Непривычны были и прикосновения его колючего подбородка.

Бабушка объяснила отцу, как найти маму

на станции Алтайская в медицинской амбулатории.

Отец бросил вещмешок и побежал за мамой.

Начальство в таких случаях

безоговорочно отпускало работающих женщин.

Вскоре они с отцом были дома.

В эту ночь мои родители и бабушка не спали.

Отец, конечно, вернулся к вопросу о папе и отече.

Мама и сама не понимала ничего.

Обо всём догадалась бабушка и объяснила отцу,

как появились на свет эти два понятия — папа и отеча.

Конец этой истории, наверное, типичен.

Через девять месяцев, уже в 1947 году, мама родила двойню,

двух мальчиков, Олега и Павлика.

Трудное тогда было время, голодное.

Мама была очень ослаблена,

слабыми были и родившиеся близнецы.

Олег прожил на свете один день, а Павлик — два.

Умерли младенцы в том же роддоме, где и родились.

Когда они прилетели в свой детский рай

(на том свете малые детки летают, что воробушки у нас в Сибири),

отцы-архангелы, добрые, как...

да нет, ещё добрее, чем наши деды Морозы в Новый год,
спросили их:

— Откуда вы, детки?

— Из Барнаула, — ответили они хором.

— Да-а-а, — сказал один из архангелов, —

война на земле вроде погасла,

а детки войны всё летят и летят к нам.

У войны длинные руки.

Отец похоронил братьев в одной могилке

на городском кладбище у речки Пивоварка,

где позднее построили Трамвайное депо № 1.

Жизнь не останавливается, течёт и течёт себе...

Акварель. Лист четвёртый

По уговору с тёмной тучей,

она — громом, я — криком,

окликаем друг друга...

Тётя Поля, тётя Шура,

тётя Вера, тётя Марейка,

праведные сёстры моей праведной мамы,

вспоминаю ваши тучные на беды годы,

всех вас вспоминаю, глядя на тучи...

А дождь идёт, омывает моё лицо,

и деревья радуются дождю.

На этом белом свете,

который никогда и не был белым,

всё — чудо! Нечудес не бывает.

Только задумайся...

и удивишься и согласишься.

Я хочу поразмышлять о чудесах.

Мне на семьдесят восьмом году жизни не только разрешается,
но и положено размышлять на такие темы.

Начну издалека.

Как-то жена мне сказала, что я дитя войны.
Не потому, что у меня воинственный характер,
скорей наоборот,
а потому что родился во время войны, в 1942 году.

Я же подумал, но вслух не сказал:
«Бери выше — я дитя революции».

Если бы не этот великий катаклизм в нашей стране,
мои родители никогда бы не встретились
и не образовали семью.

Со стороны мамы мои предки были крепостными,
они пришли в Сибирь после отмены крепостного права,
в деревню Голубцово к дальнему родственнику,
крестьянину Голубцову, который и основал эту деревню.
Здесь, в Сибири, они занимались тем же, чем занимались всегда —
выделывали кожи из шкур крупного рогатого скота.
Бабушка моя (про деда я вообще ничего не знаю)
не умела ни читать, ни писать.

Теперь о родственниках моего отца.

Мой дед со стороны отца был крупным сибирским чиновником,
в своё время он окончил Казанский университет
и, похоже, знал Ульянова В. И. не понаслышке.

Дед, по словам отца,
с большим уважением отзывался об Ульянове-Ленине
и сам был либерально-демократических взглядов
и яростным патриотом России.
По этой причине он в своё время не покинул страну,
как ему советовали коллеги.

Ясно, что революция совершила одно из своих миллионов чудес.
Хорошо это или плохо, радость это или горе?
На эти вопросы никто не знает ответов.

В 1918 году в городе Минусинске родился мой отец,
а через два года, более чем в двух тысячах сибирских километров
в деревне Голубцово родилась моя мама.

С этого момента началось движение их навстречу друг другу, и в своё время, отведённое для этого чуда, произошла их встреча.

В апреле 1931 года дед мой был арестован по обвинению «в антисоветской агитации, направленной на подрыв колхозного строительства» (из официальных материалов). Он в это время работал бухгалтером пригородного колхоза. Постановлением Особой Тройки ПП ОГПУ дед был приговорён к расстрелу, но расстрел заменили десятью годами лишения свободы.

В октябре 1989 года прокуратурой Красноярского края постановление Тройки было отменено
за отсутствием состава преступления.

Из просмотренных мной документов я сделал печальный вывод, что работники ОГПУ сфабриковали материалы дела. А что — шлёпнуть бывшего крупного сибирского чиновника, потенциального врага народа —
святое дело и красивый отчёт для начальства.

И ещё приходит в голову глобальная, но безрадостная мысль о низком качестве человеческого материала на планете Земля. Ну что это за люди такие? Неужели они — тоже люди?

Итак, деда осудили на десять лет, его семью отправили в Могочин — ссыльное место в среднем течении реки Обь. Семья, попавшая в непривычные, суровые условия испытала многие невзгоды и лишения. Следствием этого стала смерть в 1937 году мамы отца, моей бабушки, в возрасте сорока одного года. Все бытовые проблемы легли на плечи старшего брата, он к тому времени был женат и имел малолетнюю дочь. Под одной крышей с ними оказались мой отец, средний брат, которому исполнилось семнадцать лет, и младший брат, тринадцатилетний мальчишка.

За хозяйку в доме осталась жена старшего брата, которая, естественно, была недовольна созданным положением. Отец мой в то время работал счетоводом коммуны «Чекист» и терпел жизнь в Могочине, пока жива была его мама. После её смерти он отложил, сколько смог, денег на дорогу и отправился на юг Сибири. Местное начальство к нему никаких претензий не имело, и то, что он — сын врага народа, пока никого не волновало. Пацан, кому он нужен.

Денег у него хватило, чтобы добраться до станции Барнаул. Он вышел на привокзальную площадь, небольшую, но довольно приятную, имея в карманах полное отсутствие денег, вещмешок из рогожной мешковины и в нём достаточное, по его мнению, количество сухарей, железную кружку, ложку, шерстяное одеяло и... всё. Мой отец, тогда ещё семнадцатилетний парень, медленно шёл с привокзальной площади. Куда?.. Куда глаза глядят. А глаза его глядели в сторону Красноармейского проспекта, в те времена он уже именовался проспектом. Но какой это был проспект: его обрамляли дома-развалюхи с пьяными дощатыми заборами.

И вот, пока я пишу эти строки, отец мой в том 1938 году медленно идёт, идёт вслед за надеждой, надеждой на чудо. Но, если правду сказать, никакой надежды у него не было, его мучила мысль: «Где переночевать первую ночь в этом незнакомом городе?»

К счастью (как любил это выражение французский фантаст Жюль Верн!), к счастью, повторяю я вслед за ним, город в те времена был очень небольшим,

и отец мой, руководствуясь не разумом,
а какой-то животной интуицией,
спускался по Красноармейскому проспекту
в сторону речки под названием Барнаулка.

Итак, отец медленно шёл по Красноармейскому проспекту
к Демидовскому столпу,
затем повернул налево и, минуя городской сад
(знал бы он, какая роль была отведена этому саду в его судьбе!),
пришёл на старый базар,
и тут уж ноги сами привели его
к бревенчатому мосту через Барнаулку,
где немного ниже речка впадала в великую Обь.
В этом месте жители города,
по крайней мере, те, что любили рыбалку и охоту,
организовали охраняемый причал.
Здесь под присмотром пожилого сторожа хранились лодки горожан.
И здесь моего отца уже ожидало чудо.
Невероятное чудо!
Но об этом знаю только я и больше никто.
И больше никто,
даже пожилой сторож, мир его праху,
который и был автором этого чуда.

Отец подошёл к сторожу
(ранее он привёл себя и свою одежду в порядок,
поэтому выглядел вполне прилично),
вежливо, скорее даже робко
поздоровался с пожилым человеком
и кратко без эмоций изложил свою историю.
Своим видом и тем, как держал себя, он понравился сторожу.

Отец прожил на причале целую неделю.
Он не бездельничал, активно включался в любую работу,
что тоже положительно его характеризовало.
За эту неделю пожилой сторож
познакомился с историей моего отца во всех подробностях,

узнал, что молодой человек знает бухгалтерское дело.

Это всё и решило.

Сторож направил моего отца к своему другу, начальнику жилуправления, и отца приняли на работу в качестве бухгалтера с испытательным сроком.

К осени он был уже равноправным сотрудником коллектива, покорив всех исполнительностью, старанием, идеальным почерком и вполне приемлемым знанием бухгалтерского дела.

Жил он в подсобном помещении при этом же управлении.

В октябре — безрадостном, слякотном месяце —

в его жизни произошло радостное событие:

ему как молодому, перспективному работнику

была выделена небольшая, но отдельная квартирка

на втором этаже двухэтажного дома по улице Никитинской №103.

(Разве это не чудо?)

На работе отца, между прочим, все знали, что он сын врага народа.

Шила в мешке не утаишь, а никто его и не таил.

В 1972 году, когда мне было уже тридцать лет,

я записал в своём блокноте:

Однажды

я открыл для себя

простую истину...

Всё не так просто.

Неисповедимы пути простых истин.

Отец, чтобы встретить мою маму

(а встреча их была predetermined, я в том уверен),

прошёл свою часть пути от ссыльных мест до города Барнаула.

А что же мама?

С ней к тому времени всё было немного проще:

она уже находилась в городе Барнауле,

и встреча их, как говорят технари, была делом техники.

И техника не подвела.

Акварель. Лист пятый

На белом, белом,
нереально белом
рисую чёрным... жизнь.
Ничего больше,
только чёрное и белое,
и чёрное
всегда вытекает из белого
и вновь растворяется в нём.

В давнюю ночь 9-го мая,
первую после войны,
гармоника, как сумасшедшая,
играла под нашим окном.
Тува, тuva!
Тува, тuva!
И молодой ещё мужик, обнажённый по пояс
и пьяный, что характерно, в зюзу,
звенел боевыми медалями,
приколотыми на голую грудь,
и кричал: «Могу и сплясать!»
Но ног не было у него,
просто деревянная каталка
на стальных подшипниках,
и я, пятилетний пацан, был выше его.
а ещё выше
серп полумесяца прятался за облаком,
прятался
и прятался.

...И техника не подвела,
техника устройства нашего мира, полного зла и добра.
И зло в нём, как обычно, огромно,
а добро ничтожно... и неуничтожимо.

Мы всегда живём в каком-нибудь историческом периоде
и едва ли помним об этом.

Но пока на белом свете есть разумные существа,
создающие в окружающем мире свой собственный мир,
более важный для них, чем всё остальное,
исторические периоды будут и будут длиться,
и зло всё так же будет огромно, а добро — ничтожно...
и неуничтожимо.

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
А я-то рассказываю не сказку,
я рассказываю про обычную жизнь,
но и в ней дело делается долго и трудно,
и с этим не поспоришь.
Не поспоришь и с чиновником, причём всех времён и народов.
В этом мой будущий отец убедился на своём опыте
(а другого у него и не было).

До встречи моих будущих родителей, оставалось...
Впрочем, о времени я рассуждать не смею,
ведь время — оно, как Бог:
пока есть человек, есть и время.

Время моих будущих родителей
было плотно заполнено их личными событиями.
Мама, стремясь осуществить свою мечту —
стать медицинским работником,
училась в Барнаульском Акушерио-фельдшерском техникуме.
Отец, устраивая быт в своей квартирке,
пытался (и это было для него главным)
поступить в общеобразовательную школу.
Он мечтал получить документ о среднем образовании,
учиться дальше и стать дипломированным специалистом,
достойным своего папы, который был для него почти иконой.
Вот такие ребята были мои будущие родители.

Я уже говорил раньше, что у мамы всё было немного проще:
она училась в техникуме,
«упорно преодолевая все социально-бытовые трудности».

Так писали газетным языком того времени.
Кстати, очень правильно писали.

С отцом было немного сложнее
(снова это «немного»).

Немного, но вполне достаточно,
чтобы вопрос об обучении в школе рабочей молодёжи,
с которым мой отец — молодой скромный парень —
обратился к молодому вежливому чиновнику

молодой новой власти,

превратился в совершенно нерешаемый.

Тот, обращаясь к отцу на «вы»

(а до этого все «тыкали» отцу по-свойски),
сообщил ему:

— Вы, Владимир Пантелеймонович (по имени и отчеству!),
как сын врага народа урезаны в правах,
и вам в просьбе отказано.

Получается, что кое-где кое-кто знал эту часть биографии отца.
Прав или не прав был тот чиновник, теперь уже не разобраться.
Время было такое.

Впрочем, время всегда было таким,
всегда оно решает, решает всё... и всё!

Будет война или мир, горе или счастье, рассвет или закат...

Всё, всё, всё решает время.

А люди между тем, несмотря на это,

встречаются, влюбляются, образуют семьи, рожают детей...

Что же это за сущности такие?

Здесь хочу остановить свой рассказ,
чтобы подтвердить сказанное фактами
(и ещё раз удивиться им).

Семьи моих бабушек и дедушек,
типичные по тому времени,
имели по совокупности одиннадцать детей.

У моей мамы было четыре сестры и два брата,
у моего отца — три брата.

А теперь хочу обратить внимание
на годы рождения детей в этих семьях.

Сначала перечислю детей моей бабушки со стороны мамы.

Первая — моя тётя Поля,
сёстры и братья её называли «нянька Полька».

Всю жизнь, до самой смерти она, как самая старшая,
и была им нянькой,
её год рождения — 1906.

Далее — дядя Коля, 1910 г.р.,
следующий — дядя Ваня, 1914 г.р.,
тётя Шура — 1916 г.р.,
тётя Вера — 1918 г.р.,
мама — 1920 г.р.

и последняя — тётя Марейка, 1922 г.р.

О последней своей дочери бабушка рассказывала,
что родила её на крыльце.

В деревню ворвались не то красные,
не то белые, не то зелёные
(она никогда в них не разбиралась).

Бабушка выскочила на крыльцо и от страха разродилась.

Последняя дочь (её назвали Марейка)

стала калекой от рождения:

ходить она не могла, только ползала на коленях,
говорила не совсем чётко, но была очень умной.

Несмотря на свои увечья, она прожила на свете
(на этом белом-белом свете)

более восьмидесяти лет.

Теперь перечислю дни рождения детей
в семье моего деда, сибирского чиновника.

Первый — это мой дядя Витя, 1914 г.р.
(погиб в малолетнем возрасте),

далее — дядя Аркаша, 1916 г.р.,
после — мой отец, 1918 г.р.,

и последний — дядя Павлуша, 1920 г.р.

Все знают, какие это были годы:

революция, гражданская война, раскулачивания, репрессии.
А наши деды и бабушки
в эти непростые времена не просто жили одним днём,
они верили в светлое будущее
и поэтому рождали детей.
Снова хочу воскликнуть: «Ну, что же вы за люди такие?
Кажется, само время готово склонить перед вами
свою бесшабашную голову...»

Между тем в этом безбрежном, беспокойном море времени
два одиноких существа,
такие ничтожные по сравнению с этой безбрежностью,
неотвратно двигались навстречу друг другу.
И вот осенью 1940 года у входа в Городской сад
мои будущие родители, наконец, встретились.

У меня мало сведений об этой встрече.
Вспоминаю только, как однажды, уже после войны,
мы нашей небольшой семьёй проходили
мимо Горсада и отец сказал маме:
— Помнишь, Гранночка, я встретил тебя здесь перед войной.
Был тёплый сентябрьский вечер,
и я ещё сказал тебе тогда:
«Сейчас поздно (а было совсем не поздно), я вас провожу».
Ты посмотрела на меня и согласилась...

А я, пишущий эти строки в зимний вечер 2020 года,
когда тот давний, сентябрьский вечер 1940 года
почти растворился в далёком прошлом
и нет уже той страны,
и мои родители уже упокоились рядом
на городском Черницком кладбище,
перечитываю всё, что написал, и думаю:
«Это же чудо, как просто люди находят друг друга».
А потом спрашиваю себя с недоверием:
«Неужели просто?..»
И не нахожу ответа...

Отец не любил вспоминать о фронте.

Позднее я узнал,

что все фронтовики, провоевавшие войну на передовой так же, как отец, предпочитали не касаться этой темы.

Слишком болезненны, ещё слишком свежи были воспоминания.

Когда по радио объявили о начале войны

(радио было главным источником информации в те времена),

отец, воспитанный как патриот,

немедленно отправился в военкомат и...

Да, ему отказали.

Ему снова напомнили, что он сын врага народа.

Но прошло время (время решает всё!),

и при очередном обращении отца в военкомат

его направили в школу артиллеристов.

Так, с августа 1941 года

для него началась Великая Отечественная война.

Сегодня, в своём времени,

перелистывая страницы конспектов,

которые он писал на ускоренных курсах подготовки специалистов,

я... я диву даюсь, как молодой человек,

имевший за плечами всего лишь три класса начальной школы,

мог оперировать множеством специальных формул,

строил сложнейшие графики

для определения оптимальных углов обстрела

на пересечённой местности...

Вот какую школу прошёл он

у своего высокообразованного отца (моего деда),

который учил его основам бухгалтерского дела.

На фронт отец попал в январе 1942 года

после окончания учёбы в артиллерийской школе.

Как-то в один из субботних послевоенных вечеров,

когда я играл рядом с родителями в свои придуманные игры,

отец рассказывал маме,

что ему очень повезло в начале войны.

Он подружился с солдатом-артиллеристом,
который возвращался из госпиталя после ранения.
Во время медленного продвижения воинского состава
в сторону фронта
отец мой буквально впитывал информацию
о военной жизни на передовой.
Ею охотно делился бывалый артиллерист.
Отец узнал многие хитрости солдатского быта.
Например, как ночевать зимой в окопе и не замёрзнуть,
как обслуживать личное стрелковое оружие
в грязи, в пыли, на морозе,
узнал некоторые тонкости работы наводчика-артиллериста
в боевой обстановке,
узнал, как вести себя при бомбёжке...

Нет, каков наш солдат!
Даже жуткую убийственную бомбардировку
он называет ласково — бомбёжка.

Последнюю рекомендацию бывалого солдата
отцу пришлось проверить на практике очень скоро,
при первом в его жизни авианалёте немецких бомбардировщиков.
Отец рассказывал:
— Как сейчас помню, друг говорил мне: «Знаешь, Володя,
при бомбёжке эшелона хватай своё личное оружие, вещмешок
и беги как можно дальше от вагонов.
Ложись на землю, где придётся, накрывай голову прикладом
и лежи неподвижно.
Лётчик из самолёта лучше видит движущиеся цели».
Не успел мой друг закончить свои наставления,
как прозвучали первые взрывы...

Железнодорожный состав, в котором следовало их подразделение,
разбомбили ещё на подступах к линии обороны.
Когда немецкие самолёты отбомбились и улетели,
отец поднялся с земли и увидел, что друг его неподвижен,
ему уже не нужен был медсанбат, война для него закончилась.

Отец был потрясён.
Это была первая смерть на войне,
в которую он только, только вступал.

Как не любил отец воспоминания о войне, но однажды...
Капля камень долбит, а я и был этой каплей.

Однажды после встречи с ребятами
(так называли себя друзья-фронтовики)
он всё-таки рассказал мне,
за что был награждён первой солдатской «Отвагой».
Вот его рассказ.

«Был холодный октябрь 1943 года.
Пехота — царица полей — залегла в окопах.
Немцы плотно обстреливали из своих орудий большие площади
и не давали возможности для атаки.

Наши пушечные залпы не приносили противникам особого урона.
Я тогда считался лучшим наводчиком в подразделении.

Командир поставил передо мной задачу:
пробраться как можно ближе в сторону огневых точек врага
и передавать необходимые данные нашей артиллерии.
Нагруженный специальным оборудованием, своим верным ППШ
с запасным диском и биноклем в плотном футляре,
я полз в сторону противника, кажется, целую вечность.
Но это и была вечность, моя вечность.

Наконец нужное место нашлось:
хороший обзор военных объектов врага
и хорошее укрытие для меня — воронка от взрыва...
Наши пушки подавили артиллерию противника,
и пехота пошла в наступление.
...Я пришёл в себя от того, что на лицо моё лилась вода.
— Пришёл в себя, герой? —

спросил какой-то пехотный лейтенант.

Оказывается, немцы обнаружили меня
и стали прицельно стрелять в мою сторону из пушки.
Один из снарядов разорвался рядом с воронкой,
где я скрывался, и взрыв засыпал меня землёй.
Мне повезло, что пехотинцы увидели это.

Они меня и откапали.

После контузии от взрыва левым ухом я почти не слышу.

Когда после боёв, во время фронтового затишья мне перед строем вручали медаль «За отвагу»,

командир сказал мне скрытно от солдат:

— Тебе, Володя, за твой подвиг положен орден, но как сыну врага народа... Ты сам понимаешь.

Зато мы с замполитом рекомендуем

принять тебя в ряды Компартии.

Наши рекомендации уже готовы, пиши заявление.

У руководства по тебе всё решено положительно.

В октябре 1943 года, когда я писал своё заявление в партию,

далеко в Сибири, в ссыльном местечке Могочин

умер от туберкулёза, которым заразился в местах заключения,

мой папа — твой дед...»

Мой отец замолчал и надолго задумался.

Мы сидели с ним за кухонным столиком около печки,

которая обогревала нашу квартирку,

потом он молча поднялся, принёс все свои награды

и разложил их на столике.

— Вот, — указал отец на три из них, — это серебряные медали.

Две из них «За отвагу» и одна «За боевые заслуги».

Ими я был награждён за выполнение

особых индивидуальных заданий при проведении

боевых операций

и, конечно, чудо, что остался жив.

Другие медали — тоже боевые,

но за действия уже в составе воинского подразделения.

Это был последний рассказ отца о войне.

Больше он никогда ничего не рассказывал мне о ней,

а я никогда не просил его об этом.

В июле 1944 года,
после обязательного испытательного периода,
отцу моему — сыну врага народа —
был торжественно вручен партбилет.

А в девяностые годы, когда разваливался СССР,
когда многие побросали свои членские билеты,
он остался в рядах партии
и был коммунистом до самой своей смерти...

Снова доверюсь памяти,
которая шепчет мне: «А помнишь?»

Помню.

Помню, как в один из субботних вечеров
отец рассказывал моей маме шёпотом,
чтобы не разбудить меня
(но у меня-то ушки на макушке!):

– А знаешь, Гранночка, — говорил он, —
когда я вернулся с фронта,
квартира, где мы с тобой сейчас находимся,
была занята другой семьёй.

Мне об этом сказали соседи по дому.

Я стоял перед закрытой дверью в растерянности...

Война многое изменила в стране,
изменились люди, стали другими.

Друзья-фронтовики, общаясь между собой,
изменили, кажется, и сам климат
в нашем маленьком городке.

Люди того времени знали толк в боевых наградах.
Особенно ценились медали,

полученные рядовыми воинами на передовой,
а мой отец как раз и был из таких солдат.

Поэтому, когда соседи узнали о проблеме отца,
наиболее авторитетные из них
отправились с ним в районный комитет партии.

На следующий день мой отец уже хозяйничал в своей квартирке, готовясь к переезду жены и маленького сына из Новоалтайска в Барнаул...

Жизнь постепенно стала налаживаться: отменили хлебные карточки. В них уже не было нужды. В квартире рядом с нашей жила семья секретаря крайкома партии, муж и жена. Мои родители дружили с ними семьями, как тогда говорили. Секретарь крайкома партии и мой отец, сын врага народа, — друзья.
Вот так! И никто нигде не кричал о демократии.

Забегая очень далеко вперед, скажу, что отцу больше никогда ни от кого не пришлось услышать, что он — сын врага народа.

В первые же дни своей гражданской жизни он поступил в пятый класс вечерней общеобразовательной школы. Проходя за один учебный год два класса средней школы, отец получил долгожданный аттестат зрелости, потом окончил финансово-кредитный техникум, после — финансово-экономический институт, где много лет работал преподавателем по совместительству со своей основной деятельностью в качестве главного бухгалтера одного из заводов г. Барнаула.

Мама завершала свой трудовой путь также на административной работе. Она стала заведующей крупного детского комбината, объединяющего под своей крышей два дошкольных учреждения — детские ясли и детский сад. Здесь же она по совмещению исполняла обязанности детского врача, к большой радости родителей...

Если кому-нибудь однажды
вздумалось бы пройтись
сентябрьским субботним вечерком 1947 года
по Красноармейскому проспекту,
и пусть бы это было время бабьего лета,
то, дойдя до пересечения проспекта с улицей Интернациональной,
случись вдруг этому неизвестному прохожему
повернуть голову в сторону здания городской аптеки,
то всенепременно увидел бы он
небольшое, но вместительное сооружение
из добротных, строганных досок, окрашенных в едко зелёный цвет,
и венчающую его вывеску со скромным названием «Киоск».

Так вот, если бы так и случилось,
то обратил бы этот прохожий своё внимание
не только на это сооружение,
но и на группу взрослых мужчин около.
Одни из них построились в дисциплинированную очередь
к открытому окошку торговой точки,
другие составляли небольшие группы беседующих о чём-то.
Но всех в этом собрании объединяло то,
что у каждого из них был какой-нибудь недостаток:
у одного — не доставало руки,
у другого — вместо ноги была деревяшка,
а у кого-то вместо глаза — чёрная лента, как у пирата...

Чтобы не гадал этот случайный прохожий,
шепну ему чуть слышно:
— Это всё бывшие воины недавней войны.
Здесь они собираются по субботам поздним вечером,
беседуют между собой, а ещё больше молчат.

О, сколько же было инвалидов в эти послевоенные годы!
По утрам можно было видеть, как идут они,
поскрипывая протезами, каждый на свою работу.
Но с годами таких людей становилось меньше и меньше.
Прошедшая война всё ещё собирала свой урожай.

«Но что же делают эти люди в такой час в этом месте?» — подумал бы этот случайный прохожий.

Снова шепну ему:

— Здесь торгуют плодоягодным вином местного производства на разлив.

Он понимающе улыбнется.

— Но подожди, — снова шепну ему я, — скоро появится человек-праздник.

У нас в России да, наверное, и у всех народов на земле, в таких устоявшихся компаниях всегда найдётся человек-праздник.

...А вот и он.

У «Киоска» появляется высокий человек, одетый, как все присутствующие.

На это даже нет смысла обращать внимание.

Да! Вместо левой ноги — деревяшка.

Вот, пожалуй, и всё...

Э, нет, не всё. В руках его гармошка.

Он раздвигает меха и без подготовки выдаёт первые частушки.

Все присутствующие зашевелились,

даже издали чувствуется, что люди довольны.

— Тува, тува! Тува, тува! — поёт гармошка.

И вот на свободное место около гармониста уже выдвигается небольшая фигурка человека,

который до этого был совершенно незаметен,

слишком невелик, слишком сер,

сливался с серой землей вокруг «Киоска».

Чувствуется, что он уже вполне навеселе.

Он что-то бормочет, дергает своей крупной головой и вдруг кричит пронзительным, хриплым фальцетом:

— Могу и сплясать!

Но ног нет у него,

только деревянная каталка на стальных подшипниках...

2020 год, 27 февраля.

Белый, белый снег

в Барнауле.